

СЕРГЕЙ ГАЛАКТИОНОВ



БУМАЖНЫЙ ЖУРАВЛЬ

РОМАН

18+

Сергей Галактионов

Бумажный журавль

«Автор»

2026

Галактионов С. В.

Бумажный журавль / С. В. Галактионов — «Автор», 2026

«Бумажный журавль» — это реквием по миру, который исчез в ослепительной вспышке за одну секунду. Апрель 1943 года. На мосту Айой в Хиросиме двое влюбленных прощаются навсегда. Кэндзи уходит на фронт, унося в кармане бумажного журавлика — символ обещания вернуться. Тизэко остается ждать, считая дни и складывая птиц из обрывков газет. Она верит: когда их станет тысяча, боги исполнят её единственное желание. Это история не о великих сражениях, а о тихом подвиге тех, кто остался. О матери, чей шепот заглушает грохот войны. О почтальоне, который по весу конверта знает, в какой дом сегодня придет смерть. О городе, который пахнет мисо и надеждой, не подозревая, что его время остановится в 8:15 утра. Приготовьтесь плакать. Не от ужаса взрыва, а от нежности слов, которые не успели сказать, и от красоты журавликов, превратившихся в пепел. Сколько журавликов нужно, чтобы остановить конец света?

© Галактионов С. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Весна, которая не вернётся	5
Глава 2. Сталь и соль	16
Глава 3. Тысяча стежков, тысяча мыслей	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Сергей Галактионов

Бумажный журавль

«Я стояла у реки, когда увидела вспышку. Мне было тринадцать лет. Я не знала, что это. Подумала — магний, фотографическая вспышка, как в ателье, где мы снимались всей семьёй перед войной. Потом пришёл жар. Потом — ветер. Потом — тишина. Я лежала на земле и смотрела в небо, и небо было не голубым, а коричневым, и в нём висело что-то огромное, клубящееся, похожее на гриб из сказки, которую мне читала мать перед сном.

Когда я встала, мира больше не было. Того мира — с домами, и деревьями, и мамиными рисовыми лепёшками, и соседской кошкой, и запахом моря, и звуком трамвая — его не было. Вместо него было — другое. Плоское, серое, дымящееся. Я пошла к мосту Айой, потому что мы договорились с мамой: если что-то случится — встречаемся у моста. Мост стоял. Он был единственным, что стояло. Всё остальное — лежало. Дома лежали. Деревья лежали. Люди лежали. А мост — стоял.

Я ждала маму у моста два дня. Она не пришла. Никто не пришёл. Мост стоял, и я стояла, и вокруг — никого. Только река. Река текла. Она несла странные вещи: доски, тряпки, ботинки. И людей. Люди плыли по реке, лицом вниз, и река несла их к морю, как будто хотела их спрятать. Как будто стыдилась того, что произошло.

Мне сейчас пятьдесят три года. Я прихожу на мост каждый год, шестого августа. Я стою на том месте, где ждала маму. Я больше не жду — я знаю, что она не придёт. Но я стою. Потому что мост помнит. Камни помнят. Река помнит. И пока кто-то стоит на этом мосту и помнит — те, кого мы потеряли, не исчезли. Они просто ушли туда, куда река уносит всё: к морю, за горизонт, в то место, где вода встречается с небом.

Люди спрашивают меня: „Вы ненавидите тех, кто сбросил бомбу?“ Я отвечаю: „Нет. Ненависть — это ещё одна бомба. Она падает внутрь тебя и разрушает всё, что уцелело. Я не хочу ещё одной бомбы. Мне хватило одной“».

Из интервью журналу «Асахи Граф», 1985 год. Сунао Цубои, хикакуся, тринадцать лет на момент бомбардировки.

Глава 1. Весна, которая не вернётся

Апрель 1943 года. Хиросима.

Утро начиналось с запаха мисо.

В каждом доме на улице Накадзима этот запах просачивался сквозь тонкие стены из кедровых реек и рисовой бумаги, выползал на улицу, смешивался с прохладным речным воздухом и запахом цветущей сакуры, и образовывал ту неповторимую смесь, которую жители квартала узнавали безошибочно: пахло домом. Пахло утром. Пахло жизнью, которая, несмотря ни на что, продолжалась.

Кэндзи Мураками проснулся за минуту до звонка будильника — старых немецких часов фирмы «Юнгханс», которые отец купил ещё до войны, в те невообразимо далёкие времена, когда в магазинах Хиросимы продавались немецкие часы, английское мыло и американские граммофонные пластинки. Часы стояли на полке в токонома — единственная ценная вещь в

доме, не считая каллиграфического свитка с иероглифом «стойкость», который дед повесил там тридцать лет назад.

Он лежал на футоне, глядя в потолок, на котором утренний свет рисовал решётку теней от оконных перегородок. Бумага в окнах давно пожелтела — новую сёдзи-гами не выпускали уже полтора года, фабрика в Кобэ перешла на производство упаковки для армейских пайков. Мать латала бумагу как могла, заклеивая прорехи обрезками газет, и по утрам Кэндзи иногда читал новости задом наперёд, разбирая заголовки в их зеркальном отражении на потолке. Сегодня он разобрал: «Героическая оборона Киска» и «Дух Ямато непобедим». Новости были трёхмесячной давности. Остров Киска к тому времени, кажется, уже сдали.

Ему было девятнадцать лет. Через три дня он уходил на войну.

Кэндзи встал, аккуратно сложил футон, убрал его в стенной шкаф и несколько минут стоял босиком на прохладных татами, слушая звуки просыпающегося дома. За перегородкой мать уже возилась на кухне — он слышал лёгкий стук крышки о край кастрюли, шипение воды, тихий плеск. В соседней комнате отец кашлял — сухо, отрывисто. Кашель появился прошлой осенью и не проходил, но отец отказывался идти к врачу, говоря, что доктор Хаяси и без того завален работой, а его кашель — «просто пыль от дороги».

Кэндзи прошёл по коридору к умывальнику во дворе. Двор был крошечный — три шага в длину, два в ширину — но мать ухитрилась разместить здесь каменный фонарь, куст азалии и крохотный пруд с двумя золотыми рыбками. Рыбок звали Ити и Ни — Первый и Второй. Ити жил здесь уже двенадцать лет, и мать разговаривала с ним, как с членом семьи. «Ити-сан, доброе утро. Ити-сан, вода сегодня холодная, потерпите». Кэндзи в детстве смеялся над этим, а теперь понимал: когда мужчины уходят на войну, женщины разговаривают с тем, кто остался. Хоть бы и с рыбкой.

Вода в умывальнике была ледяной. Кэндзи плеснул её в лицо, задохнулся, плеснул ещё раз. Над крышами соседних домов поднималось солнце, и сакура во дворе храма Дзёсэй-дзи через три дома от них стояла в полном цвету — тяжёлые, набухшие гроздья, чуть розоватые, чуть сиреневые, словно подсвеченные изнутри. Дерево было старое, посаженное, по словам настоятеля, ещё в эпоху Мэйдзи, и каждую весну цвело так щедро, будто извинялось за всё плохое, что случилось за год.

В этом году оно цвело особенно пышно. Как будто торопилось.

Кэндзи вытер лицо полотенцем — жёстким, застиранным, с едва различимым рисунком журавлей, который мать когда-то вышила по краю. Из-за забора донёсся голос старика Ямамото — соседа слева, отставного учителя каллиграфии, которому было семьдесят три года.

— Мураками-кун! Мураками-кун! Подойди на минуту!

Кэндзи подошёл к забору. Ямамото-сэнсэй стоял у себя во дворе, опираясь на палку, в старом ватном хантэн — короткой куртке, когда-то тёмно-синей, а теперь выцветшей до цвета осеннего неба. На его голове была повязана хлопковая полоска ткани — хатимаки, хотя утро было прохладным и повязка от пота была не нужна. Старик носил её каждый день — с тех пор как его единственный сын Нобору ушёл на фронт в сорок первом.

— Доброе утро, сэнсэй, — Кэндзи поклонился.

— Я слышал, ты уходишь через три дня, — сказал Ямамото. Его глаза, маленькие и тёмные, как виноградные косточки, смотрели из-под кустистых бровей с выражением, которое Кэндзи не мог прочесть. Гордость? Тревога? Зависть к чужой молодости?

— Да, сэнсэй. На базу Курэ.

— Флот, — кивнул старик. — Хорошо. Мой Нобору в пехоте. На Гуадалканале. — Он помолчал. — По крайней мере, был на Гуадалканале. Последнее письмо было в октябре.

Кэндзи не знал, что ответить. Про Гуадалканал он слышал по радио: героическая борьба, стратегическое отступление, беспримерная доблесть. Но даже сквозь железобетонную стену пропаганды просачивались слухи — о голоде, о малярии, о тысячах тел, оставленных в джун-

глях. Сосед Ямамото никогда не говорил о сыне в прошедшем времени, но в его голосе появился тот особый глуховатый оттенок, который Кэндзи уже научился распознавать у людей, чьи близкие пропали в огромной тишине войны.

— Я хочу дать тебе кое-что, — сказал Ямамото и исчез в доме.

Он вернулся через минуту, держа в руках узкий свёрток из серой ткани. Развернул. Внутри лежала кисть для каллиграфии — старая, с бамбуковой ручкой, отполированной до медового блеска тысячами прикосновений.

— Это кисть моего учителя, — сказал Ямамото. — А до него — учителя его учителя. Ей больше ста лет. Я дал такую же Нобору, когда он уходил. — Старик протянул кисть Кэндзи. — Возьми. Тебе не нужно будет ею писать. Просто держи при себе. Она из дома. Она помнит.

Кэндзи взял кисть обеими руками, как священный предмет. Бамбук был тёплым, будто его только что держал кто-то другой.

— Спасибо, сэнсэй. Я верну её, когда вернусь.

— Когда вернёшься, — повторил Ямамото и улыбнулся. Но улыбка не дошла до глаз.

Завтрак в доме Мураками проходил в тишине — так было заведено ещё дедом, который считал, что утренняя еда требует того же сосредоточения, что и молитва. Мать, Ёсико, расставила на низком столе три миски с рисовой кашей — жидкой, почти прозрачной, больше похожей на суп, чем на кашу. Рис выдавали по карточкам: два го на человека в день, около трёхсот граммов. Этого не хватало, и Ёсико научилась варить окаю — кашу-размазню, в которой каждое зерно разбухало до предела, создавая иллюзию объёма. К каше прилагались три ломтика цукэмоно — маринованной редьки дайкон, жёлтой, как осенний лист, и солёной настолько, что щипало язык. Солью Ёсико не экономила: соль, в отличие от всего остального, ещё можно было достать.

Отец, Такэси, ел медленно, держа палочки с тем особым изяществом, которое выдавало в нём выходца из семьи, где когда-то знали лучшие времена. Его дед по материнской линии был мелким чиновником в префектуральном управлении, и в семье сохранились остатки манер, которые Такэси передал сыну, сам того не замечая. Он ел так, будто перед ним стоял полноценный обед: брал крошечный кусочек, подносил ко рту неторопливо, жевал тщательно, клал палочки на подставку между каждым движением. Этот ритуал, подумал Кэндзи, был его собственным способом сопротивления — не врагу, не войне, а медленному, ежедневному унижению бедностью.

— На базе Курэ хорошо кормят, — сказал Такэси, не поднимая глаз от миски. — Рис, рыба, иногда мясо. Военный паёк — лучшее, что сейчас есть в стране.

Он произнёс это без горечи, как простой факт. В Японии 1943 года лучшей перспективой для молодого человека из бедной семьи была армия: там кормили. Гражданские нормы продовольствия сокращались каждый месяц. С полок магазинов исчезли сахар, масло, яйца, свежая рыба. Мясо стало воспоминанием. Даже соя — основа основ японской кухни — выдавалась по карточкам. Ёсико научилась готовить бобы пятнадцатью способами и шутила, что после войны напишет кулинарную книгу: «Сто рецептов из ничего». Никто не смеялся, но все понимали, что это не совсем шутка.

— Я слышала, — тихо сказала Ёсико, — что жена господина Кудо получила письмо от сына. Он в Рабауле. Пишет, что здоров, что еды достаточно, что командиры справедливы. Просит прислать сушёные сливы.

Она произнесла это так, будто передавала светскую новость, но Кэндзи уловил подтекст: если сын Кудо жив и пишет — значит, и с ним, Кэндзи, всё будет хорошо. Мать строила логику утешения из случайных совпадений, как храм из спичек.

— Сливы, — хмыкнул Такэси. — Мне вчера госпожа Фурукава отдала целый пакет. Говорит — «возьмите, Мураками-сан, вашему сыну на дорогу». Сама еле ходит, а отдала сливы. Хорошие люди.

— Госпожа Фурукава потеряла мужа на Мидуэ, — заметила Ёсико. — В июне. Ей пятьдесят два года, и она живёт одна.

— Я знаю, — сказал Такэси. И больше ничего не добавил.

Кэндзи думал о госпоже Фурукава, которую он знал с детства. Маленькая женщина с круглым лицом и постоянной улыбкой, продававшая моти с бобовой начинкой из лотка на углу. Её муж, Фурукава Сабуро, был призван на флот в сорок первом — в сорок семь лет, потому что у него был опыт работы механиком, а флоту отчаянно требовались механики. Он погиб, когда авианосец «Акаги» затонул в битве при Мидуэ. Госпожа Фурукава узнала об этом из казённого извещения, которое принёс отец Кэндзи. Такэси рассказывал, что она приняла конверт обеими руками, поклонилась и сказала: «Благодарю вас за труд, Мураками-сан». Потом закрыла дверь. Такэси стоял на улице и слушал, как за дверью тишина. Ни крика, ни плача. Тишина.

Он рассказал об этом вечером, и его голос был таким, каким Кэндзи никогда раньше не слышал — пустым, как выскобленная бочка.

После завтрака Кэндзи вышел на улицу. Квартал Накадзима просыпался медленно, нехотя, как человек, которому снился хороший сон и который не хочет возвращаться в реальность. Соседские дети — Хироси и Юми, двойняшки из дома через дорогу — бежали в школу, стуча деревянными гэта по мостовой. Их мать, госпожа Сасаки, стояла в дверях и кричала вслед: «Юми! Ты забыла бэнто! Юми!»

Кэндзи остановился, наблюдая за этой сценой — такой обычной, такой будничной, что она казалась невозможной на третьем году войны. Двойняшкам было по семь лет. Они родились в тридцать шестом, за пять лет до Перл-Харбора, и не знали другого мира, кроме этого — мира карточек, затемнений и тревожных сирен. Хироси таскал за собой деревянный самолёт, вырезанный отцом, и жужжал, изображая моторы. Юми прижимала к груди тряпичную куклу без одного глаза.

Госпожа Сасаки заметила Кэндзи и поклонилась.

— Мураками-кун. Я слышала, ты уходишь. Мы все будем молиться за тебя в храме Гококу.

— Благодарю вас, Сасаки-сан.

Она помолчала, потом добавила тише, почти шёпотом, оглядываясь по сторонам, будто произносила что-то запретное:

— Мой муж пишет с Филиппин. Он говорит... — Она снова оглянулась. — Он говорит, что на самом деле всё не так, как рассказывают по радио.

Кэндзи напрягся. Говорить такие вещи было опасно. Токкэйтэй — военная полиция, и Кэмпэйтэй — тайная полиция — имели осведомителей в каждом квартале. Соседский комитет тонаригуми, созданный для взаимопомощи и распределения продуктов, давно превратился в инструмент надзора. Десять семей в группе, и каждая отвечала за остальных. Если один высказывал «опасные мысли», под подозрение попадали все десять.

— Я уверен, что Сасаки-сан служит с честью, — сказал Кэндзи, чуть громче, чем нужно.

Госпожа Сасаки поняла. Она поклонилась снова и исчезла в доме, прижимая к груди забытый бэнто дочери.

Кэндзи шёл по улицам Хиросимы, и город открывался перед ним, как знакомая книга, в которой он вдруг начал замечать подробности, ускользавшие раньше.

Хиросима не была похожа на Токио или Осаку. Она была городом среднего размера — около трёхсот пятидесяти тысяч жителей — но с ощущением большой деревни. Здесь все знали друг друга, или знали кого-то, кто знал. Город стоял на дельте реки Ота, которая разделялась на шесть рукавов, образуя острова, соединённые мостами. Мостов было много — больше, чем в любом другом японском городе, и хиросимцы этим гордились. Мосты были деревянные,

каменные, металлические; старые, горбатые, с облупившейся краской и новые, построенные для нужд армии — плоские, уродливые, функциональные.

Мост Айой был особенным. Он имел форму буквы «Т» — единственный такой мост в Японии, а может, и в мире. Центральная перекладина соединяла два берега реки, а ножка буквы «Т» упиралась в остров посередине. С воздуха мост напоминал прицел. Кэндзи не знал, что именно эта его форма через два года станет роковой: пилот американского бомбардировщика выберет его в качестве ориентира.

Сейчас на мосту было пусто. Раннее утро, час, когда город ещё принадлежит рыбакам, торговцам и бродячим кошкам. Кэндзи остановился посередине, положил руки на деревянные перила и посмотрел вниз.

Река Ота текла медленно, неся на себе весь мусор и всю красоту апреля одновременно. Лепестки сакуры ложились на воду, как крошечные записки, которые кто-то бросал с берега. Между лепестками проскальзывали листья, веточки, однажды — бумажный кораблик, старательно сложенный детской рукой. Кэндзи проследил за ним взглядом: кораблик развернулся на течении, зачерпнул воды правым бортом и затонул.

Он стоял на мосту, когда слышал за спиной шаги.

— Ты снова здесь, — раздался голос, который Кэндзи узнал бы из тысячи других. Среди грохота артиллерии, среди рёва самолётных двигателей, среди шума толпы и среди абсолютной тишины — этот голос нашёл бы его.

Он обернулся. Тиэко Ямагути шла к нему по мосту, и утреннее солнце било ей в спину, превращая её силуэт в тёмный контур, окружённый золотым сиянием. Она придерживала рукой белый воротничок школьной формы, давно ставшей тесной в плечах. Юбка была надставлена — Кэндзи заметил полосу другой ткани, пришитую по подолу, чуть отличающуюся по цвету. Ветер трепал её волосы — короткие, чёрные, остриженные по моде, которая ушла вместе с мирным временем, но Тиэко упрямо продолжала стричься так, словно защищала маленький островок прежней жизни.

Ей было восемнадцать. Она должна была в этом году закончить женскую школу, но занятия отменили в феврале — старшеклассниц направили на трудовую мобилизацию. Тиэко работала на фабрике, выпускавшей армейскую форму. Десять часов в день за швейной машиной. Её пальцы, когда-то мягкие, стали жёсткими, покрытыми мозолями и мелкими порезами от ножиц.

Но сейчас, в этом утреннем свете, она была красива так, что у Кэндзи перехватило дыхание. Не красотой актрис из довоенных журналов — нет. Другой красотой. Красотой человека, который существует в единственном экземпляре и которого невозможно заменить.

— Смотрю на лепестки, — сказал Кэндзи в ответ на её незаданный вопрос.

— Зачем?

— Хочу запомнить, как они падают. Там, куда я еду, сакура не растёт.

— Откуда ты знаешь?

— Читал. На островах в Тихом океане растут пальмы. Пальмы не цветут. То есть цветут, но не так.

Тиэко встала рядом, облокотившись на перила. Их локти разделяли считанные миллиметры — расстояние, которое можно было преодолеть случайным движением, дрожью от ветра, вздохом. Но они не преодолевали его. В этом «почти» заключался целый мир — мир, в котором чувства существовали только между строк, где любовь выражалась не словами, а углом наклона головы, длительностью взгляда, тем, как человек произносил ваше имя.

Кэндзи покосился на её руки. Тонкие, но уже не хрупкие — руки работницы, а не школьницы. Красные от холодной воды и щёлочного мыла. Мать Тиэко, Хацуэ, стирала бельё на дому — единственный заработок с тех пор, как отец, Масахиро Ямагути, ушёл воевать. Масахиро был призван в начале сорок первого и отправлен в Бирму, в пехотный полк. Последнее письмо

пришло в августе сорок второго. В нём было написано: «Здесь много дождей. Берегите здоровье. Кланяюсь матери». Ничего о войне, ничего о страхе, ничего о том, что Бирманская кампания превращалась в кошмар, о котором газеты не писали. После этого письма — тишина. Восемь месяцев тишины.

Хацуэ каждое утро ставила перед домашним алтарём — бутсуданом — чашку свежего риса и кланялась фотографии мужа. На фотографии Масахиро улыбался. Фотография была сделана в тридцать девятом, на празднике Танабата, и Масахиро стоял в светлой юкате с веером в руке, весёлый, загорелый, живой. Каждый день Хацуэ разговаривала с этой фотографией, передавая мужу новости квартала, жалуясь на цены и на погоду, спрашивая совета по хозяйственным делам. Тиэко слышала эти разговоры и не знала, что страшнее: мать, которая говорит с фотографией, или фотография, которая никогда не ответит.

— Мой отец говорит... — начала Тиэко и осеклась. Она давно перестала поправлять себя. Все вокруг говорили о своих мужьях, сыновьях, братьях в настоящем времени. «Мой муж считает», «мой сын любит», «мой брат всегда говорит». Настоящее время было крошечной соломинкой, за которую держались, чтобы не утонуть в прошедшем.

— Что он говорит? — мягко спросил Кэндзи.

— Он говорил, — поправились Тиэко, и это крошечное изменение времени глагола было отважнее любого крика, — что с моста Айой весной открывается лучший вид в городе. Что если встать точно посередине, можно увидеть замок, и храм, и горы. И что человек, который видит всё это одновременно, не может быть несчастлив.

Кэндзи посмотрел. Замок Хиросима стоял серой громадой в утренней дымке. Его построили в 1589 году, и с тех пор он пережил пожары, землетрясения, реставрации, запустение и возрождение. Последние десять лет в замке располагался штаб Второй армии, и по его территории ходили офицеры в форме, но издали, с моста, замок казался таким же, каким был четыреста лет назад — вечным, неподвижным, каменным обещанием, что есть вещи, которые не меняются.

Храм Гококу поблёскивал мокрой крышей — ночью прошёл короткий дождь. Горы на горизонте синели, окутанные облаками. А между всем этим лежал город: десятки тысяч деревянных домов, крытых серой черепицей, узкие улочки, каналы, мосты, трамвайные пути, по которым дребезжали красно-белые вагоны. Дым из труб, голоса торговцев на рынке Хондори, скрип колёс повозок, звон велосипедных звонков, запах жареного тофу из харчевни дядюшки Мацуды, который всё ещё ухитрялся готовить, хотя масло для жарки давно стало роскошью.

Кэндзи вбирал это в себя — глазами, ушами, кожей, всеми порами. Он не знал, что напоминает мир, которому осталось существовать двадцать восемь месяцев.

— Знаешь, — сказала Тиэко, — я вчера видела Хидэо Накамуру. Помнишь его? Он учился на два года старше тебя.

— Помню. Длинный, в очках. Он хотел стать инженером.

— Он вернулся с Соломоновых островов. — Тиэко помолчала. — Без правой руки.

Кэндзи молчал.

— Он сидит у себя дома и ни с кем не разговаривает. Его мать говорит, что он не спит по ночам. Кричит во сне, когда всё-таки засыпает. Она говорит, что он... что он вернулся не весь. Что часть его осталась там.

— Не надо, — тихо сказал Кэндзи.

— Прости.

— Нет. Просто — не надо. Не сейчас.

Они замолчали. Лепестки продолжали падать в воду. Далеко, за горами, прогрехотал гром — или не гром, а что-то другое, но отсюда было не разобрать, и Кэндзи решил, что это гром.

— Я буду ждать тебя, — сказала Тиэко, и в её голосе не было ни пафоса, ни мелодрамы. Она произнесла это так же просто и буднично, как сказала бы «сегодня хорошая погода» или «рис подорожал». Именно эта будничность сделала её слова невыносимыми.

Потому что эти четыре слова были самым большим, что она могла дать ему. Они означали признание в любви — ведь ждут только тех, кого любят. Они означали обещание — ведь ждать значит верить, что есть зачем. Они означали самопожертвование — ведь ожидание на войне это тоже служба, невидимая, не отмеченная медалями, но разрушающая изнутри не хуже пуль.

Кэндзи наконец сделал то, на что не мог решиться всё утро. Он положил свою ладонь поверх её руки на перилах. Просто накрыл её пальцы своими. Не сжал, не переплёл — просто положил. Его кожа — грубоватая, тёплая. Её — прохладная, шершавая от мозолей.

Тиэко не отдернула руку. Она чуть повернула ладонь, и их пальцы соприкоснулись. В этом жесте было больше, чем в любом поцелуе.

Они стояли на мосту, и апрельское солнце поднималось выше, и город шумел вокруг них, и всё было так прекрасно, что хотелось кричать. Потому что такая красота бывает только тогда, когда что-то кончается навсегда.

Обратная дорога домой вела через рынок Хондори — крытую торговую улицу, бывшую сердцем городской торговли. До войны здесь можно было купить всё: свежую рыбу из Внутреннего моря, овощи с полей равнины Хиросима, шёлковые ткани из Ниси-Ниппон, фарфор из Арита, книги, зонтики, деревянные игрушки, западные шляпы и даже шоколад — настоящий шоколад фирмы «Мэйдзи», завернутый в золотую фольгу, один кусочек которого Кэндзи помнил до сих пор. Ему было двенадцать, мать купила ему плитку на день рождения, и он ел её три дня, отламывая по крошечному кусочку, и каждый кусочек растягивал во рту так долго, что шоколад таял и стекал по языку сладкой горячей рекой.

Теперь рынок был другим. Половина лавок закрылась. Витрины заколочены досками или завешены патриотическими плакатами: «Роскошь — наш враг!», «Один рис — одна победа!», «Хочешь есть — терпи ради фронта!». Те лавки, что ещё работали, торговали скудным набором: репа, батат, водоросли, изредка — мелкая рыба, пахнущая тиной. Очереди выстраивались с рассвета. Женщины — в основном женщины, потому что мужчин почти не осталось — стояли молча, терпеливо, прижимая к себе матерчатые сумки и потрёпанные продуктовые карточки.

Кэндзи прошёл мимо лавки зеленщика Ватанабэ — пожилого человека с лицом, похожим на печёное яблоко, который торговал здесь, сколько Кэндзи себя помнил. Ватанабэ-сан раскладывал на прилавке жалкие пучки зелени, каждый размером с детский кулак, и при этом приговаривал:

— Свежайшая зелень! Выращена на полях Хиросимы! Ешьте зелень, и дух ваш будет крепок, как меч самурая!

Это звучало бы комично, если бы не глаза Ватанабэ — усталые, потухшие, с красными прожилками от бессонницы. Его старший сын пропал без вести на Атту. Его жена слегла с болезнью почек, а лекарств не было — все медикаменты уходили на фронт. Он вставал в четыре утра, ехал на велосипеде за десять километров к фермеру, который соглашался продать ему зелень по спекулятивной цене, потом вёз её обратно, раскладывал на прилавке и кричал про крепость духа.

— Доброе утро, Ватанабэ-сан, — сказал Кэндзи.

— А! Молодой Мураками! — Зеленщик просиял. — Слышал, слышал. Во флот идёшь? Отлично. Возьми вот, — он протянул Кэндзи пучок зелени, — матери отнеси. Бесплатно. Для солдата Императора ничего не жалко.

— Я ещё не солдат, — улыбнулся Кэндзи.

— Через три дня будешь. А доброе дело лучше делать заранее. — Ватанабэ подмигнул. — Знаешь, что мой отец говорил? Он говорил: «Дай голодному рыбу — накормишь на день. Дай ему удочку — накормишь на всю жизнь. А если нет ни рыбы, ни удочки — дай ему хотя бы

пучок зелени и доброе слово». Мой отец был мудрый человек. Хотя, если честно, — Ватанабэ понизил голос, — рыба была бы лучше.

Кэндзи рассмеялся. Потом понял, что смеётся впервые за несколько дней.

Дальше по улице он встретил Юдзуру Като — своего школьного друга, который тоже получил повестку, но не во флот, а в армию. Като был крепким, коренастым парнем с широким лицом и взглядом, который учителя в школе называли «дерзким», а сам Като — «честным». Он единственный из всего класса позволял себе задавать вопросы, которые остальные даже не смели думать.

Они не виделись две недели, и Кэндзи поразился перемене: Като похудел, под глазами залегли тени, и в его обычно громком голосе появилась незнакомая хрипотца.

— Като! Давно тебя не видел.

— Мураками. — Като пожал ему руку по-западному — привычка, которую он перенял из американских фильмов, в те годы, когда американские фильмы ещё показывали в кинотеатре «Тайкан» на Хаккёбори. — Ты когда уходишь?

— Послезавтра. Ты?

— Завтра. — Като оглянулся по сторонам, потом взял Кэндзи за локоть и отвёл в сторону, к стене закрытой кондитерской, на витрине которой всё ещё висела выцветшая реклама карамели «Морияма». — Послушай. Я кое-что тебе скажу. Только ты... ты пойми правильно.

— Говори.

Като снова огляделся. Потом произнёс, тихо, почти без выражения:

— Мой двоюродный брат служил на транспортном судне. Возил припасы на Гуадалканал. Вернулся в январе. Он рассказывал мне... — Като сглотнул. — Он рассказывал такие вещи, которые я не могу повторить вслух. Про то, что творилось на острове. Про голод. Про то, как люди ели кору деревьев. Про приказы, которые... — Он замолчал.

— Като, — сказал Кэндзи, и в его голосе было предупреждение.

— Я знаю. Я знаю. Я не призываю ни к чему. Я пойду служить, и я буду сражаться, и если нужно будет — я умру. Я не трус и не предатель. Но я хочу, чтобы ты знал: то, что нам говорили в школе, то, что говорят по радио — это не всё. Это даже не половина. И когда ты окажешься там, ты... ты увидишь сам.

Кэндзи не ответил. Он смотрел на Като и чувствовал, как что-то внутри него — что-то маленькое, твёрдое, тщательно запечатое — шевельнулось. Сомнение. Крошечное, как зёрнышко, но живое. Он тут же задавил его, втоптал обратно, закрыл на замок. Сомнение было роскошью, которую он не мог себе позволить. Не сейчас. Не за два дня до отъезда.

— Береги себя, Като, — сказал он.

— И ты, Мураками. — Като вдруг улыбнулся — широко, по-мальчишески, так, как улыбался в школе, когда они вместе удирали с уроков физкультуры и бежали к реке ловить головастика. — Увидимся после войны. Выпьем сакэ. Напьемся как свиньи. Договорились?

— Договорились.

Они разошлись. Кэндзи больше никогда не увидит Като. Юдзуру Като погибнет через одиннадцать месяцев на Сайпане, в одной из последних банзай-атак, бессмысленной и отчаянной. Ему будет двадцать лет. Но сейчас, в апреле сорок третьего, он шёл по рынку Хондори живой, молодой, и его шаги ещё звучали уверенно.

Вечер опустился на город как тёплое одеяло, пахнущее дымом и речной водой. Кэндзи сидел за низким столом в комнате, освещённой единственной лампой — электричество экономили, и в каждом доме горела только одна лампочка, да и та — обёрнутая тканью, чтобы свет не пробивался наружу. Затемнение соблюдалось неукоснительно, хотя Хиросиму пока не бомбили. Ходили слухи, что город специально шадят — то ли потому, что здесь нет крупных заводов, то ли потому, что в Хиросиме есть лагерь для военнопленных, и американцы берегут своих. Слухи были утешительными, и поэтому в них верили.

Мать накрыла на стол. Рис, маринованная редька, мисо-суп, в котором плавали три кусочка тофу и несколько тонких стебельков водоросли вакамэ. И — Кэндзи удивился — крошечный кусочек жареной рыбы, не больше мизинца.

— Откуда рыба? — спросил он.

— Госпожа Нисимура поделилась, — сказала Ёсико. — Её зять рыбак, привёз улов из Миядзимы. Она сказала: «Вашему сыну нужны силы перед дорогой».

Ёсико поставила тарелки перед мужем и сыном. Себе она положила только рис и редьку. Кэндзи заметил это и хотел возразить, но мать перехватила его взгляд и чуть покачала головой — жест, который не допускал обсуждения. Она всегда отдавала лучшее мужчинам. Так было заведено. Так было правильно. Кэндзи подумал, что «правильно» — странное слово, и заставил себя перестать думать.

Отец ел медленно, с той тщательной церемонностью, которая была его персональным бастионом. Между глотками он рассказывал о дне:

— Сегодня принёс четыре письма и два извещения. Извещения — в дом Кавано на Тэнма-тё и семье Морита у реки. Кавано-сан открыла дверь, посмотрела на конверт, потом на меня, и сказала: «Я знала. Я видела во сне, как Кэйити идёт по мосту над облаками. Он улыбался». Потом взяла конверт и закрыла дверь. Не заплакала. Ни звука.

Такэси помолчал, потом продолжил:

— Морита-сан — другое дело. Она закричала. Упала на колени прямо на пороге. Соседки прибежали, подняли её, увели в дом. Я стоял на улице и слушал. — Он поднял глаза на Кэндзи. — Знаешь, что самое страшное в моей работе? Не извещения. К ним привыкаешь. Самое страшное — это обычные письма. Когда я несу письмо, и человек видит меня через окно, и на его лице сначала ужас — потому что он думает, что я несу смерть, — а потом облегчение, когда он видит, что конверт обычный, не казённый. И он улыбается. И благодарит меня. И я улыбаюсь в ответ. И мы оба знаем, что в следующий раз конверт может быть другим.

— Отец, — сказал Кэндзи.

— Да?

— Я вернусь. Я обещаю.

Такэси посмотрел на сына долгим взглядом. Потом кивнул.

— Я знаю.

Он не знал. Кэндзи не знал. Никто не знал. Но они оба произнесли эти слова, потому что без них невозможно было жить.

— Я горжусь тобой, — сказал Такэси, и его голос стал твёрже, официальнее, словно он надел невидимый мундир. — Ты идёшь защищать Императора и Японию. Мураками всегда были людьми долга. Твой дед служил в Маньчжурии. Прадед — в войне с Россией. Ты продолжаешь линию. Это — честь.

Кэндзи слушал и кивал. Он верил каждому слову. Ему было девятнадцать лет, и мир был простым: была Япония — священная, божественная, единственная. Был Император — живой бог, чья воля — закон вселенной. Была война — справедливая, необходимая, ведущаяся ради освобождения Азии от белых колонизаторов. И был он, Кэндзи Мураками, — маленький винтик в великой машине, готовый вращаться и, если потребуется, сломаться ради общего дела.

Его так учили. С первого класса начальной школы, когда учитель Ногами — худой, строгий, с голосом, похожим на скрежет мела по доске — заставлял их каждое утро кланяться в сторону Императорского дворца и хором повторять Императорский рескрипт об образовании. «Наши подданные, будьте сыновне почтительны к родителям, ласковы к братьям и сёстрам, гармоничны между мужьями и жёнами, верны как друзья; ведите себя скромно и умеренно; распространяйте благоволение на всех; совершенствуйте учение и овладевайте искусствами, и тем самым развивайте свои умственные способности и укрепляйте нравственную силу; далее,

преумножайте общественное благо и служите общественным интересам; всегда почитайте Конституцию и соблюдайте законы; в случае же крайней необходимости мужественно жертвуйте собой ради Государства...»

«Мужественно жертвуйте собой». Этим словам было пятьдесят три года, но звучали они так, будто были написаны вчера.

После ужина мать вынесла свёрток. Кэндзи уже знал, что в нём, но сделал вид, что удивлён.

Ёсико развернула длинную полоску белой хлопковой ткани — сэннинбари, пояс тысячи стежков. Женщины квартала расшивали его по очереди: каждая делала один или несколько стежков красной нитью, вкладывая в каждый укол иглы молитву о безопасности воина. Традиция шла с Русско-японской войны и пережила Первую мировую, Маньчжурский инцидент и теперь — эту войну, которой не видно было конца.

— Госпожа Танака сделала три стежка, — говорила Ёсико, проводя пальцем по узелкам. — У неё болят глаза, но она настояла. Госпожа Ито сделала десять. Молодая Акэми из углового дома — двадцать. Госпожа Фурукава, — мать запнулась, — госпожа Фурукава сделала тридцать. Она сказала: «Пусть мальчику повезёт больше, чем моему мужу».

Кэндзи взял пояс обеими руками. Ткань была лёгкой — обычный хлопок, ничего особенного. Но каждый узелок был чьим-то выдохом, чьей-то бессонной ночью, чьим-то «пожалуйста, только не его». Тысяча маленьких молитв, сплетённых в полоску белой ткани.

— Спасибо, мама, — сказал он и поклонился. — Я буду носить его каждый день.

— Я знаю, — Ёсико улыбнулась. Улыбка была такой хрупкой, что, казалось, одно неосторожное слово — и она разобьётся.

Потом она сказала то, чего Кэндзи не ожидал:

— Я положила туда ещё кое-что. Внутрь, между слоями ткани.

Он развернул пояс и увидел: в специально зашитом кармашке лежала маленькая бумажная фигурка — журавль, сложенный из тонкой белой бумаги. Размером с ноготь большого пальца. Идеально ровные складки, крошечные крылья, вытянутая шея.

— Это я сложила, — сказала мать. — Бабушка научила меня, когда мне было шесть лет. Она говорила: кто сложит тысячу журавлей — сэмбадзуру — тому исполнится любое желание. Я не успела сложить тысячу. Только одного. Но я загадала за него очень сильно.

Кэндзи сжал журавлика в ладони. Бумага была тёплой.

— Что ты загадала?

— Ты знаешь, — сказала Ёсико, и больше ничего не добавила.

Ночь пришла тихо, как вор, и украла последние остатки дня. Кэндзи лежал на футоне, уставившись в потолок, слушая ночные звуки дома и города. Скрип деревянных стен, остывающих после дневного тепла. Далёкий лай собаки. Шелест листвы за окном. Бульканье воды в пруду, где Ити — золотая рыбка — иногда всплывал на поверхность за мошками.

И — тихий, почти неразличимый плач матери за перегородкой.

Она плакала каждую ночь. Кэндзи знал это уже неделю — с тех пор, как пришла повестка. Она зажимала рот ладонью или краем одеяла, комкала ткань зубами, чтобы ни один звук не просочился через тонкую стену. Но стены японских домов были созданы не для секретов. Они пропускали всё: храп соседа, ссоры через три дома, чей-то кашель, чей-то стон, чей-то плач. Все слышали всё, и все делали вид, что не слышат. Это была вежливость, доведённая до абсолюта. Или трусость. Или сострадание. Или всё одновременно.

Рядом с футоном лежал пояс с тысячей стежков, а внутри него — бумажный журавль. Кэндзи протянул руку в темноте и коснулся ткани. Узелки под пальцами ощущались как шрифт Брайля — как послание, которое нужно читать на ощупь.

Он думал о Тиэко. О её руке на перилах моста. О миллиметрах, которые разделяли их локти. О том, как она произнесла «я буду ждать тебя» — просто, буднично, как будто это были не слова, а воздух.

Он представил, как вернётся. Он войдёт в город — через два года, через год, через полгода, неважно. Он пройдёт по знакомым улицам. Он поднимется на мост Айой. И она будет стоять там, на том же месте, облокотившись на перила. И он скажет ей то, что не сказал сегодня. Он скажет: «Тиэко, я люблю тебя». Прямо, без обиняков, без намёков. Он нарушит все неписанные правила, все условности, все «почти» и «не совсем». Он скажет эти слова вслух, потому что война — если она и даёт что-то — даёт право на прямоту.

Но это потом. А сейчас он лежал в темноте и слушал, как мать плачет, и не шёл к ней, потому что утешить её значило бы признать, что есть от чего плакать. А этого признать было нельзя. Нельзя, потому что утром нужно будет встать и прожить ещё один день. И ещё один. И ещё.

Где-то далеко, за океаном, в лабораториях Лос-Аламоса, люди, которых Кэндзи никогда не узнает, работали над задачей, которая через два года превратит его город в пепел. Они чертили формулы, спорили о конструкции имплозивной линзы, считали критическую массу урана-235. Они были учёными. Они решали техническую проблему. Некоторые из них впоследствии скажут, что не думали о людях — думали о физике. Другие скажут, что думали, и не смогли остановиться. Третьи не скажут ничего.

Но в апреле 1943 года до этого было ещё далеко. Двадцать восемь месяцев. Восемьсот пятьдесят дней. Двадцать тысяч четыреста часов. Достаточно, чтобы влюбиться, разочароваться, потерять надежду, обрести её снова, написать сто писем, получить двадцать, потерять друга, найти врага, увидеть смерть, забыть о ней и вспомнить.

Кэндзи закрыл глаза.

За окном шелестела сакура, роняя последние цветы в темноту. Через два года на этом месте будет оплавленная пустошь, и тени людей, навечно впечатанные в камень вспышкой ярче тысячи солнц, и тишина, от которой лопаются барабанные перепонки. Бумажный журавль, спрятанный в складках пояса, превратится в горсть пепла. Или не превратится. Это зависело от того, на каком расстоянии от эпицентра окажется Кэндзи утром шестого августа тысяча девятьсот сорок пятого года.

Но это — другая глава.

А пока — апрель. Весна. Лепестки на воде. Тихий плач за стеной. И девятнадцатилетний мальчик, который верит, что мир устроен справедливо.

Он заснул. И ему приснилась река, полная бумажных журавлей.

Глава 2. Сталь и соль

Май 1943 года. Военно-морская база Курэ.

Поезд из Хиросимы шёл сорок минут.

Сорок минут — ничтожное расстояние, полчаса на велосипеде, если ехать быстро. Но когда вагон тронулся и перрон начал медленно уплывать назад, Кэндзи почувствовал, что между ним и домом разверзается пропасть, которую нельзя измерить километрами. Мать стояла на платформе, маленькая, прямая, в тёмном хлопковом платье, перешитом из старого кимоно. Она не плакала. Она улыбалась — той самой улыбкой, которую Кэндзи видел у неё каждое утро последних трёх дней: неподвижной, аккуратно приклеенной к лицу, как маска театра Но. Рядом стоял отец — тоже прямой, тоже неподвижный, с рукой, застывшей в незавершенном жесте, то ли прощание, то ли благословение. Они становились меньше. Потом — совсем маленькими. Потом перрон завернул за угол, и Кэндзи увидел в окне только пути, шпалы, серый гравий насыпи и небо над всем этим — высокое, бледное, равнодушное.

Тиэко не пришла на вокзал. Они договорились об этом накануне, на мосту, в их последнюю встречу. Она сказала: «Я не приду провожать тебя. Я не хочу стоять на перроне. Все женщины на перронах — одинаковые. Я не хочу быть одинаковой». Он понял. Она не хотела становиться частью ритуала, в котором слёзы предписаны, поклоны отмерены, слова выверены и ничего — ничего — не принадлежит тебе лично. Вместо прощания она просунула ему в ладонь бумажного журавлика — второго, побольше, сложенного из страницы школьной тетради в линейку. На крыле, если развернуть, можно было прочесть: «Задача 14. Вычислите площадь треугольника со сторонами...» Тиэко тихо рассмеялась, когда он заметил это: «Теперь у тебя есть нерешённая задача. Придётся вернуться, чтобы узнать ответ».

Журавлик лежал в нагрудном кармане, рядом с первым — тем, что мать зашила в пояс. Два бумажных журавля. До тысячи — девятьсот девяносто восемь.

В вагоне было тесно. Человек двадцать призывников — таких же, как он: молодые, стриженные, в штатском, потому что форму выдадут на базе. Некоторые ехали с родственниками — матерями, отцами, младшими сёстрами, которые сидели рядом и держали призывников за руки, за рукава, за края одежды, будто боялись, что те исчезнут прямо сейчас, растворятся в воздухе между Хиросимой и Курэ.

Напротив Кэндзи сидел парень его возраста — худой, остроносый, с торчащими ушами и взглядом, в котором смешались испуг и любопытство. На коленях у него лежал аккуратный фуросики — узелок из синей ткани, завязанный так туго, что ткань побелела на сгибах.

— Мураками Кэндзи, — представился Кэндзи, слегка наклонив голову.

— Ониси Сюдзо, — ответил парень. — Из Кои. Рядом с Хиросимой. Ну, ты знаешь.

Кэндзи знал. Кои — пригород, рыбацкий посёлок на берегу залива. Там пахло водорослями и соляром, и летом на отмелях можно было собирать моллюсков.

— Во флот? — спросил Кэндзи.

— Ага. Механиком, наверное. Я до этого работал на верфи. Клепал обшивку на транспортниках. Руки вот, — Ониси вытянул ладони, — видишь? Пальцы кривые. Это от заклёпочника. Вибрация. Через полгода суставы начинают гнуться не в ту сторону. — Он пошевелил пальцами, и Кэндзи увидел, что мизинец и безымянный на левой руке действительно слегка отклонялись вбок, как ветки, согнутые ветром. — Зато знаю, как устроен корабль изнутри. Каждую переборку, каждую заклёпку. Корабль — он как человек: снаружи красивый, а внутри — кишки, провода и ржавчина.

Ониси говорил быстро, нервно, заполняя тишину словами, как штукатур заделывает трещины. Кэндзи скоро поймёт, что это его способ справляться со страхом: Ониси боялся тишины. В тишине приходили мысли, а мысли в мае 1943 года были опасным грузом.

— А ты откуда? — спросил Ониси.

— Из Накадзимы. Центр Хиросимы.

— О! Городской. — Ониси присвистнул. — А я деревенский. Мой отец рыбак. Был рыбак. Сейчас ловить нечего — армия забирает весь улов. Выходит в море, тянет сети, всё, что поймал — сдаёт. Себе оставляет мелочь, которую даже кошки не едят. — Он усмехнулся. — Знаешь анекдот? Рыбак поймал рыбу. Рыба говорит: «Отпусти меня, я исполню три желания». Рыбак отвечает: «Мне хватит одного — скажи, где ты пряталась, я туда сети поставлю». Рыба: «Не могу, это военная тайна».

Кэндзи фыркнул. Ониси просиял.

— Видишь? Смеёшься. Значит, подружился. Я всегда говорил: если человек смеётся над моими шутками, он либо хороший, либо глухой.

За окном мелькали рисовые поля, оросительные каналы, деревеньки из пяти-шести домов, сгрудившихся вокруг маленьких храмов. Мирный пейзаж, пасторальный, почти открытый. Но если присмотреться, можно было заметить приметы войны: на полях работали в основном женщины и старики, согнутые в три погибели над ростками риса. Мужчин призывного возраста не было. Некоторые поля стояли заброшенными — некому обрабатывать. На перекрёстках дорог торчали зенитные установки, задравшие стволы к небу, как мольбы. На крыше сельской школы кто-то нарисовал белым огромный иероглиф «верность».

Поезд замедлил ход. Залив Курэ открылся внезапно — между двух холмов, поросших соснами, блеснула синяя полоска воды, и тут же — серая, громоздкая, подавляющая масса кораблей. Военно-морская база Курэ была крупнейшей в Японии. Здесь строили линкоры и авианосцы, здесь ремонтировали подводные лодки, здесь стояли эсминцы, крейсера, минные тральщики — десятки кораблей, сотни, целый стальной город на воде. Трубы дымили. Краны двигались. Грохот клёпки, визг пил, гул моторов — всё это накрыло вагон разом, как волна.

— Ого, — выдохнул Ониси, прижавшись лицом к стеклу. — Смотри. Вон тот, большой. Это же... это «Ямато»?

Кэндзи посмотрел. Там, за внутренним рейдом, за лесом мачт и надстроек, возвышалось нечто, не похожее на обычный корабль. Оно было слишком огромным. Линкор «Ямато» — самый большой военный корабль в истории человечества: семьдесят два тысячи тонн водоизмещения, девять орудий калибра 460 миллиметров, каждое из которых могло забросить снаряд весом в полторы тонны на расстояние сорока двух километров. Он стоял у причала, серый, неподвижный, и даже издали ощущалось то, что моряки называли «тяжестью» — не физической, а какой-то метафизической: присутствие этого корабля менял воздух вокруг себя, делало его гуще, плотнее, значительнее.

— Красавец, — прошептал Ониси.

Кэндзи промолчал. Он не знал, что «Ямато» — этот символ японской морской мощи, этот плавающий храм, построенный в тайне от всего мира — через два года будет потоплен американскими самолётами по пути к Окинаве. Три тысячи моряков утонут вместе с ним. Но сейчас, в мае сорок третьего, «Ямато» казался непобедимым. Как замок Хиросима. Как сама Япония. Как всё, что рушится.

На платформе станции Курэ призывников встречал младший унтер-офицер — мужчина лет тридцати, невысокий, жилистый, с лицом, словно вырубленным из серого камня. Его фамилия была Хаттори, и он смотрел на новоприбывших с выражением, которое Кэндзи впоследствии научится хорошо распознавать: смесь скуки, презрения и профессионального безразличия, с которой мясник смотрит на очередную тушу.

— Построиться! — рявкнул Хаттори. — В две шеренги! Быстро!

Двадцать три человека попытались выстроиться в подобие строя. Получилось плохо. Они были штатскими — портными, рыбаками, студентами, учениками, клерками — и понятия не имели, как стоять в строю. Кто-то встал слишком близко к соседу. Кто-то — слишком далеко.

Один парень — высокий, бледный, с длинными нервными пальцами — держал перед собой фуросики, как щит.

Хаттори прошёлся вдоль строя. Медленно. Каждый его шаг — хруст гравия под каблуком — звучал как удар метронома. Он остановился перед высоким парнем.

— Имя.

— Ми... Миура Тацуо. Из Ономити.

— Что в узелке?

— Вещи, господин унтер-офицер. Мать собрала.

— Мать. — Хаттори протянул руку. — Дай.

Миура отдал узелок. Хаттори развязал его, перебрал содержимое: сменная рубаша, носки, зубная щётка, маленькая жестяная коробка с домашним печеньем, фотография — молодая женщина с ребёнком на руках.

Хаттори поднял фотографию.

— Это кто?

— Жена. И дочь.

— Сколько дочери?

— Год и три месяца.

Хаттори задержал взгляд на фотографии. На долю секунды — не больше — что-то мелькнуло в его каменном лице. Потом он вложил фотографию обратно в узелок и бросил его Миуре.

— На базе хранить личные вещи запрещено. В каптёрке получишь форму, номер и койку. Всё, что привёз из дома, сдашь. Фотографию можешь оставить. Всё остальное — на склад. Вопросы?

Тишина.

— Вопросов нет. Шагом марш.

Они пошли. По асфальтовой дороге, мимо складов и мастерских, мимо казарм, мимо огромного сухого дока, в котором стоял остов корабля — полуразобранный, с торчащими рёбрами шпангоутов, похожий на скелет кита. Воздух пах металлом, мазутом, солью и ещё чем-то — резким, химическим, чего Кэндзи не мог определить. Потом понял: краска. Корабли постоянно красили, потому что морская вода разъедала любое покрытие за считанные месяцы.

Казарма оказалась длинным деревянным бараком, похожим на конюшню. Два ряда двухъярусных коек, разделённых узким проходом. На каждой койке — тонкий матрас, набитый соломой, серое шерстяное одеяло, жёсткое, как картон, и подушка, которая была подушкой только по названию — на самом деле это был холщовый мешок, набитый гречневой шелухой. В дальнем конце барака — умывальная: десять раковин, два душа с холодной водой, ряд деревянных лавок.

— Нижняя койка — привилегия старослужащих, — сказал Хаттори. — Новички — наверх. Отбой в двадцать один ноль-ноль. Подъём в пять ноль-ноль. Опоздание на построение — десять ударов бамбуковой палкой по спине. Второе опоздание — двадцать. Третьего не будет, потому что после двадцати ударов опаздывать больше не захочется.

Он произнёс это без угрозы, без нажима — как человек, излагающий прогноз погоды. Потом вышел, оставив двадцать три человека в бараке, пропахшем потом и сыростью и соломенной трухой.

Кэндзи забрался на верхнюю койку. Матрас скрипел при каждом движении. Доски под ним прогибались. Он лежал на спине, глядя в потолок — серые балки, паутина в углу, лампочка без абажура, покрытая бурыми точками засиженная мухами.

— Эй, Мураками, — позвал снизу Ониси, которому досталась соседняя секция. — Ты как?

— Нормально.

— Врёшь. — Ониси тихо рассмеялся. — Я тоже вру. Нормально — это дома, с мамой, с горячим рисом и тёплым одеялом. А тут... тут солома в ухо лезет. Ты когда-нибудь спал на соломе?

— Нет.

— А я спал. На верфи, когда работали по ночам, спали в цеху на мешках с паклей. Просыпаешься — весь в занозах и пахнешь как лошадь. Но знаешь что? Привыкаешь. Ко всему привыкаешь. Человек — такая скотина, что ко всему привыкает.

Ониси помолчал, потом добавил тише:

— Кроме одного. К отсутствию дома не привыкаешь. Это как фантомная боль — руки нет, а она болит. Дома нет, а он — вот, стоит перед глазами. Каждую ночь.

Кэндзи ничего не ответил. Он лежал и слушал, как затихает барак. Кто-то ворочался, кто-то вздыхал. Кто-то, кажется, молился — тихий, едва различимый шёпот в дальнем углу. Миура, парень с фотографией жены и дочери, сидел на своей койке и держал в руках маленький карточный снимок, вглядываясь в него, как в окно, за которым — другой мир.

Кэндзи вынул из кармана двух журавликов. Положил их на грудь. Они лежали, невесомые, бумажные, хрупкие — два маленьких обещания, что где-то есть место, где его ждут.

Первая неделя на базе была адом.

Нет — ад был бы понятнее. Ад был бы честнее. В аду, по крайней мере, знаешь, за что страдаешь. На базе Курэ страдание было безличным, механическим, встроенным в распорядок дня, как шестерёнка в часовой механизм.

Подъём в пять. Построение на плацу. Переключка. Физическая подготовка: бег, отжимания, приседания, подтягивания — до тех пор, пока руки не перестанут сгибаться и ноги не станут подламываться, как у новорождённого телёнка. Потом — завтрак: рис, мисо-суп, кусок маринованной сливы. Рис был настоящий — белый, рассыпчатый, и его было достаточно. Отец был прав: в армии кормили лучше, чем на гражданке. Эта мысль вызывала стыд, который Кэндзи не мог объяснить.

После завтрака — занятия. Строевая подготовка, семафорная азбука, основы навигации, устройство корабля, морская терминология. Инструктор по навигации, мичман Кога — маленький, круглый, с бритой головой и голосом, неожиданно густым для его комплекции — рисовал на доске схемы течений и сыпал названиями: «бак», «ют», «шпангоут», «кингстон», «клюз». Слова были чужими, грубыми, угловатыми — многие заимствованы из голландского и английского, и произносить их на японском было всё равно что жевать гальку.

— Корабль, — говорил Кога, постукивая мелом по доске, — это живое существо. У него есть скелет — киль и шпангоуты. Есть кожа — обшивка. Есть внутренние органы — машинное отделение, рулевое управление, системы вентиляции. Есть нервная система — электрические кабели и переговорные трубы. И есть душа. Нет, не смейтесь. У каждого корабля — душа. Если вы не будете уважать корабль, он вас убьёт. Море убивает тех, кто неуважителен.

Кога был единственным из инструкторов, кто не кричал, не бил и не унижал. Он был кадровым моряком с двадцатилетним стажем, служил на крейсерах и эсминцах, прошёл Цусиму в молодости — нет, не Цусиму, он был слишком молод для неё, но его отец был при Цусиме, и Кога говорил об этом так, будто сам стоял на мостике рядом с адмиралом Того. Он знал море как своё тело — каждую мышцу, каждый каприз, каждую слабость — и учил курсантов не бояться его, а понимать.

— Море, — говорил он, — не ваш враг. Враг — ваше невежество. Запомните: волна не думает. Шторм не выбирает жертв. Мина не знает вашего имени. Но если вы не знаете, как устроен ваш корабль, если вы не умеете читать барометр, если вы не чувствуете, как меняется ветер — тогда море убьёт вас, и это будет ваша вина.

Кэндзи слушал Когу, и мир обретал странную новую форму. Мир, в котором существовали осадка и крен, румбы и узлы, приливы и девиация компаса. Мир, объяснимый формулами

и правилами, мир, в котором смерть можно предотвратить знанием. Это было утешительно. Это давало иллюзию контроля.

Но были и другие уроки. Те, которых не было в расписании.

На третий день старослужащий Исикава — плотный, с квадратной челюстью и маленькими злыми глазами — остановил Кэндзи в коридоре казармы.

— Новенький. Имя.

— Мураками Кэндзи.

— Откуда?

— Хиросима, господин старший матрос.

— Хиросима. — Исикава усмехнулся. — Город тыловых крыс. Вас там ни разу не бомбили, верно? Сидите за горами, как мыши за печкой, пока настоящие города горят.

Кэндзи молчал. Он уже понял — инстинктивно, нутром, как животное чувствует хищника — что любой ответ будет неправильным. Согласиться — унижить родной город. Возразить — нарваться на удар.

— Я спрашиваю, — голос Исикавы стал тише, что было хуже крика. — Ты немой?

— Нет, господин старший матрос. Хиросиму не бомбили.

Удар пришёл без предупреждения — открытой ладонью по щеке. Не сильный — обидный. Голова Кэндзи мотнулась вбок. В ухе зазвенело. Щека загорелась.

— Это за то, что ты мне в глаза смотришь, — сказал Исикава. — Новичок не смотрит старшему в глаза. Новичок смотрит вниз. На палубу. На свои ботинки. Понял?

— Понял, господин старший матрос.

— Не слышу.

— Понял, господин старший матрос!

Исикава ушёл. Кэндзи стоял в коридоре, прижимая ладонь к горячей щеке, и внутри него — в том месте, где, как он думал, живёт то самое «мужественно жертвуйте собой» из Императорского рескрипта — шевельнулось что-то тёмное, жаркое, незнакомое. Не страх. Не гнев. Что-то хуже: понимание, что это — не ошибка, не случайность, не «один плохой человек». Это — система.

Позже, вечером, Ониси объяснил ему правила.

— Это называется «шигоки», — сказал он, лёжа на своей койке и рассматривая потолок с видом знатока, изучающего фреску. — Дисциплинарное воспитание. Старослужащие бьют новичков. Это... ну, это как закон природы. Солнце встаёт на востоке. Вода мокрая. Старшие бьют младших.

— За что? — спросил Кэндзи.

Ониси повернул голову и посмотрел на него с искренним удивлением.

— За что? Ни за что. В том-то и дело. Если бы били за проступок — это было бы наказание. Наказание можно понять. А шигоки — это... — Он пощёлкал пальцами, подбирая слово. — Это дрессировка. Тебя бьют, чтобы ты привык к боли. Чтобы ты перестал думать о себе как о человеке. Чтобы ты стал... частью. Деталью. Шестерёнкой. Шестерёнке не больно, когда её вставляют в механизм. Шестерёнка не обижается.

— Ты это на верфи узнал?

— На верфи, — кивнул Ониси. — Там то же самое. Мастер бьёт подмастерье. Подмастерье вырастает — бьёт следующего. И так с начала времён. Мой дед говорил: «В Японии есть два типа людей — те, кто бьёт, и те, кого бьют. Первые когда-то были вторыми. Вторые когда-то станут первыми. И в этом — справедливость». — Ониси хмыкнул. — Мой дед, конечно, был идиот. Но он был прав в одном: из этого круга нет выхода. Только — через.

Шигоки. Кэндзи запомнит это слово. Оно станет фоном его жизни на ближайшие месяцы — как шум прибоя, как визг чаек, как лязг стали. Исикава бил не каждый день и не каждого. У него была своя логика, непостижимая для новичков: иногда он проходил мимо, не замечая,

иногда — останавливался, задавал вопрос, слушал ответ и бил, иногда — не слушал и всё равно бил. Однажды он заставил весь взвод новобранцев стоять по стойке «смирно» два часа на плацу под дождём, потому что кто-то — он не сказал кто — «неуважительно посмотрел» на портрет Императора в столовой.

Двадцать три человека стояли под холодным майским дождём, и вода стекала по лицам, и ноги немели, и хотелось кашлять, но кашлять было нельзя, потому что кашель — это звук, а звук — это нарушение тишины, а тишина — это единственное, чего требовал Исикава.

Миура — тот, с фотографией жены — стоял рядом с Кэндзи. В какой-то момент его колени подогнулись, и он начал заваливаться набок. Кэндзи успел подхватить его за локоть, удержать. Исикава смотрел на это с другого конца плаца. Не сказал ни слова. Не наказал. Просто смотрел.

Потом, когда их отпустили, Миура сидел на койке, завернувшись в одеяло, и тихо сказал:

— Спасибо, Мураками.

— Не за что.

— Нет, послушай. Спасибо. Если бы я упал... при нём... — Миура не договорил. — Моя жена пишет мне каждую неделю. Она думает, что я здесь учусь на моряка. Защищаю Родину. Она гордится. Она рассказывает дочери, что её папа — герой. — Его голос стал хриплым. — А я стою под дождём два часа, потому что кто-то не так посмотрел на портрет. И я думаю: это и есть — защита Родины? Это — честь? Вот это?

— Тише, — сказал Кэндзи. Не потому, что боялся. Потому, что если Миура договорит, если он скажет вслух то, что думают все — мысль обретёт плоть, и тогда с ней придётся что-то делать. А делать было нечего.

Миура замолчал. Достал фотографию. Посмотрел на неё. Убрал.

На третью неделю побили Ониси. Не Исикава — другой старослужащий, Танигути, маленький, злобный, с шрамом на подбородке. Ониси опоздал на построение на тридцать секунд — запутался в обмотках. Танигути ударил его бамбуковой палкой по бёдрам. Три раза. Удары были точные, профессиональные — бамбук свистел в воздухе, как прут, рассекающий воду. Ониси не кричал. Стоял, сжав зубы, и на его лице было выражение, которое Кэндзи потом видел много раз на многих лицах — выражение человека, который уходит внутрь себя, захлопывает все двери, все окна, запирается в самой дальней комнате своей души и ждёт, пока всё кончится.

Вечером Ониси лежал на животе, потому что сидеть не мог. На его бёдрах багровели три параллельных рубца — красных, набухших, горячих. Кэндзи принёс мокрое полотенце и приложил к синякам.

— Спасибо, — сказал Ониси. Потом, помолчав: — Знаешь, что самое обидное? Не боль. Боль — ерунда, проходит. Обидно, что я думал... я правда думал, что на флоте будет иначе. Что мы будем учиться воевать. Что нас научат быть сильными. А вместо этого нас учат быть... покорными. Это разные вещи, Мураками. Совсем разные.

— Может, в этом и есть смысл, — сказал Кэндзи, и сам не поверил своим словам.

— Может быть, — согласился Ониси. — А может, смысла нет вообще. Может, это просто... просто так.

Он замолчал. За стенами казармы шумело море — ровный, бесконечный, безразличный гул. Море не знало про шигоки, про Исикаву, про бамбуковые палки. Море было честнее людей.

Прошёл месяц. Потом второй. Тело Кэндзи менялось — он чувствовал это каждый день. Мышцы, которых он раньше не замечал, проступили под кожей, как корни дерева под землёй. Руки, стёртые канатами и рукоятками вёсел, покрылись мозолями — жёлтыми, твёрдыми, как копыта. Кожа на лице и шее потемнела от соли и ветра. Он стал быстрее, жёстче, молчаливее.

Он стал — моряком. Или тем, что называлось моряком на военном языке: функциональной единицей, способной выполнять приказы без задержки, без раздумья, без сомнения.

Каждый вечер, перед отбоем, он вынимал из-под подушки двух бумажных журавликов и разглаживал их пальцами. Бумага мялась, истончалась, рвалась по сгибам. Он подклеивал их рисовым клеем, который выпрашивал у каптёрщика, и прятал обратно. Это был его ритуал — маленький, тайный, бессмысленный с точки зрения военной дисциплины и абсолютно необходимый с точки зрения всего остального.

Письма приходили дважды в месяц. Мать писала аккуратным, ровным почерком на тонкой бумаге, экономя каждый квадратный сантиметр. Она рассказывала о доме, о соседях, о погоде — ни слова о трудностях, ни слова о голоде, ни слова о плаче по ночам. Её письма были маленькими спектаклями, в которых всё было хорошо, соседи здоровы, рыбка Ити жива, сакура отцвела и завязались вишни. Кэндзи читал и понимал, что между строк — другая правда. Но он был благодарен матери за эту ложь, как она была благодарна ему за его.

Отец писал коротко, по-мужски: «Здоров. Работаю. Горжусь тобой. Береги себя». Четыре предложения. Четыре стены, за которыми отец прятал всё, что не мог сказать.

И Тиэко.

Тиэко писала иначе. Её письма были не рассказом и не отчётом. Они были — присутствием. Она писала так, словно сидела рядом и разговаривала с ним, и Кэндзи, читая, слышал её голос — чуть низкий, с хрипотцой, которая появлялась, когда Тиэко волновалась.

«Сегодня на мосту Айой я видела цаплю. Она стояла на одной ноге прямо на том месте, где мы стояли с тобой, и смотрела в воду. Я думаю, она искала рыбу, но мне хотелось верить, что она ждёт кого-то. Я постояла рядом с ней. Мы обе ждали.

На фабрике нас перевели на двенадцатичасовую смену. Шьём шинели. Ткань грубая, серая, пахнет машинным маслом. Иголки тупятся после двадцати стежков. Мастер, господин Хамада, кричит, что мы шьём слишком медленно. Он говорит, что каждая минута нашей лени — это минута, которую солдат на фронте мёрзнет. Я не ленюсь. Я шью так быстро, как могу. Но иногда игла соскальзывает, и я колю палец, и на серой ткани остаётся маленькое красное пятно. Я стараюсь, чтобы пятно было на изнанке. Но иногда думаю: тот солдат, который наденет эту шинель — увидит ли он моё пятно? Подумает ли он обо мне?

Мама получила письмо от тёти Сидзуэ из Нагасаки. Тётя пишет, что у них тоже перебои с рисом, но зато можно достать сладкий картофель. Она прислала рецепт: картофель, нарезанный тонко, высушенный на солнце, потом истолчённый в муку. Из этой муки можно печь лепёшки. Мама попробовала. Лепёшки получились серые, безвкусные, похожие на подошву. Мы ели их и смеялись. Давно не смеялись.

Кэндзи, я хочу сказать тебе кое-что. Не знаю, как написать, поэтому напишу просто: я складываю журавликов. Каждый день — по одному. Из газет, из обрезков ткани, из обёрточной бумаги — из всего, что попадает под руку. Бабушка говорила, что тысяча журавлей приносит счастье. Я не знаю, правда ли это. Но мне нужно чем-то занять руки по вечерам, когда фабрика кончается, а ночь ещё не началась. В этом промежутке — между работой и сном — время движется так медленно, что кажется, оно вообще остановилось. И только руки, складывающие бумагу, доказывают, что оно всё-таки идёт.

Я пока сложила сто двадцать три. До тысячи далеко. Но у меня есть время. У нас у всех есть время — мы, те, кто ждёт, богаты только временем.

Береги себя. Я буду на мосту».

Кэндзи перечитывал это письмо семь раз. Потом — ещё три. Потом сложил и убрал под подушку, рядом с журавликами.

Ониси, заметив его лицо, присвистнул:

— Девушка?

— Нет, — соврал Кэндзи.

— Врёшь, — констатировал Ониси. — У тебя уши покраснели. Уши не умеют врать. Это, кстати, научный факт. Я читал в журнале.

— Ты читаешь журналы?

— Читал. До войны. Журнал «Кагаку асахи» — «Наука Асахи». Там были статьи про всё: про электричество, про радио, про двигатели внутреннего сгорания, про то, как работает человеческое тело. Там было написано, что уши краснеют, когда кровь приливает к голове от сильной эмоции. Радость, стыд, волнение — уши не различают. Они просто краснеют. — Ониси улыбнулся. — Так что не ври. Девушка.

— Девушка, — сдался Кэндзи.

— Красивая?

Кэндзи подумал.

— Да.

— Ждёт?

— Говорит, что ждёт.

— Значит, ждёт. Девушки не врут про ожидание. Про всё остальное — может быть. Но про «я буду ждать» — никогда. Это слишком дорого стоит, чтобы тратить впустую.

Ониси замолчал. Потом сказал, тихо, в потолок:

— У меня нет девушки. Была одна, Миэко, из соседней деревни. Она работала на рыбном рынке, чистила креветок. Руки у неё всегда пахли морем. Я хотел ей сказать... ну, ты понимаешь. Но не успел. Её семья переехала в Осаку, когда её отца перевели на завод Мицубиси. Я даже не попрощался. Просто пришёл однажды на рынок, а её нет. И запах моря — тот же, а её — нет.

Он повернулся на бок, лицом к стене.

— Ладно, спи. Завтра опять бег. Десять километров. С полной выкладкой. Я ненавижу бег. Я создан для неподвижного образа жизни. Для сидения за верстаком. Для ковыряния в двигателях. А не для беганья по плацу с мешком песка за спиной. Но кого это волнует? Никого. Спокойной ночи, Мураками.

— Спокойной ночи, Ониси.

Тишина. Потом, из темноты:

— Мураками?

— Что?

— Ты веришь, что мы победим?

Долгая пауза. Скрип коек. Чьё-то бормотание во сне. Далёкий гудок корабля в гавани.

— Да, — сказал Кэндзи.

— Я тоже, — сказал Ониси.

Оба лгали. Оба знали, что лгут. И оба были благодарны друг другу за эту ложь — маленькую, тёплую, человеческую, — без которой ночь была бы невыносимой.

В июне Кэндзи впервые вышел в море.

Учебный катер — старый, обшарпанный, с дизельным двигателем, который чихал и кашлял, как больной старик — вывез десять курсантов за пределы гавани, в пролив между островами. День был ясный, ветер — умеренный, волна — невысокая, но для людей, никогда не бывавших в открытом море, этого хватило.

Миуру стошнило первым. Потом — ещё троих. Кэндзи держался. Он стоял на палубе, вцепившись в леер, и смотрел, как берег удаляется, как Курэ превращается в россыпь серых точек у подножия зелёных гор, как мир расширяется до невозможных размеров — вода, небо, горизонт, и больше ничего. Желудок сжимался, но Кэндзи не позволил ему взбунтоваться. Он дышал, как учил Кога: глубоко, ровно, глядя на горизонт.

Море было не таким, каким он его представлял. Он думал, что оно — плоское, как стол, только подвижное. На самом деле море было трёхмерным: оно поднималось и опускалось,

дышало, перекачивалось, и у каждой волны был свой характер — одна длинная, ленивая, другая короткая, злая, третья — вообще не волна, а просто рябь, лёгкая дрожь на поверхности, как мурашки на коже.

— Не блевать! — крикнул Хаттори, стоявший на мостике с таким видом, словно управлял линкором. — Кто блюёт — тот не моряк! А кто не моряк — тому на флоте делать нечего!

Ониси, стоявший рядом с Кэндзи, был зелёным, как водоросли, которые Ёсико клала в мисо-суп, но держался.

— Знаешь, — прошептал он, судорожно сглатывая, — мой дед говорил, что море — это большой суп. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Меня от этого супа выворачивает.

— Не говори про суп, — попросил Кэндзи.

— Извини.

К вечеру они вернулись в гавань. Кэндзи сошёл на берег и почувствовал, как земля качается под ногами — фантомная качка, которая будет преследовать его ещё много часов. Он стоял на причале, мокрый от брызг, пахнувший солью и мазутом, и думал: «Теперь я был в море. Теперь я знаю, какое оно на вкус». Море было солёным. Как слёзы. Как пот. Как кровь.

Кога, проходя мимо, остановился рядом.

— Мураками.

— Да, господин мичман.

— Ты сегодня не блевал. — Кога посмотрел на него, и в его взгляде мелькнуло что-то вроде одобрения. — Это хорошо. Это значит, что море тебя приняло. Не все выдерживают первый раз. Некоторые... — Он не договорил. — Ладно. Иди отдыхай. Завтра — снова.

Кога ушёл. Кэндзи смотрел ему вслед и думал о том, что этот человек — единственный на всей базе, кто разговаривал с курсантами как с людьми, а не как с инвентарём. Потом подумал: может, потому что Кога видел настоящее море и настоящую войну, и знал, что в бою все равны — и старослужащие, и новички, и унтер-офицеры, и адмиралы. Волне всё равно, сколько у тебя нашивок. Торпедо безразличен твой чин. Море — великий уравниватель.

В ту ночь Кэндзи написал Тиэко. Он писал долго, подбирая слова, зачёркивая, начиная сначала. Бумага была казённая — серая, шершавая, впитывающая чернила, как песок воду. Он хотел рассказать ей про море, про солёный ветер, про горизонт, который бесконечен и потому — прекрасен. Но слова не шли. Вместо моря выходила казарма. Вместо горизонта — плац. Вместо красоты — усталость.

В итоге он написал:

«Тиэко.

Сегодня я первый раз вышел в море. Оно оказалось больше, чем я думал. Гораздо больше. Стоя на палубе, я смотрел в сторону Хиросимы. Я не мог её видеть — слишком далеко. Но я знал, в какой стороне она, и смотрел туда. Мне казалось, что если очень сильно напрячь глаза, я увижу мост Айой. И цаплю, которую ты видела. И тебя.

Продолжай складывать журавликов. Я буду считать. Когда будет тысяча — загадай желание. Одно. Самое важное.

Я здоров. Я учусь. Я помню».

Он не написал «я скучаю». Не написал «я люблю тебя». Не написал «мне страшно». Он написал «я помню» — и в этих двух словах было всё остальное.

Запечатал конверт. Подписал адрес. Положил на тумбочку. Утром отнесёт на почту. Письмо дойдёт до Хиросимы за два дня. Тиэко прочтёт его вечером, сидя у окна, при свете единственной лампы. Она прочтёт «я помню» — и поймёт. Она всегда понимала то, что он не говорил.

Он задул свечу. Барак погрузился в темноту. Двадцать три человека лежали в темноте, каждый со своей тишиной, каждый со своим письмом — написанным или ненаписанным,

отправленным или неотправленным. Двадцать три маленьких одиночества, сложенных в штабель, как снаряды в погребе.

За стенами казармы — гавань. Корабли. Море. И где-то за морем — война, которая ждала их всех.

Кэндзи положил руку на грудь. Под тканью рубахи, под поясом с тысячей стежков, он чувствовал контур бумажного журавлика — маленький, хрупкий, невесомый. Обещание, сложенное из бумаги. Надежда, которая помещалась на ладони.

Он закрыл глаза. Море шумело за стенами.

До шестого августа сорок пятого оставалось двадцать шесть месяцев. Но кто считает время, когда оно кажется бесконечным?

Глава 3. Тысяча стежков, тысяча мыслей

Июль 1943 года. Хиросима.

Лето навалилось на город, как горячая мокрая ладонь.

Влажность в Хиросиме в июле достигала девяноста процентов, и воздух становился не воздухом, а веществом — густым, липким, почти осязаемым. Его можно было набрать в горсть, как кисель. Он облеплял кожу, забивался в лёгкие, пропитывал одежду, которая не успевала высохнуть за ночь и к утру пахла плесенью и потом. Деревянные стены домов набухали от влаги. Бумага в окнах-сёдзи морщилась и провисала. Татами отсыревали и начинали пахнуть старым рисом. На кухонных досках заводилась зелёная плесень, которую Ёсико соскребала каждое утро ножом, приговаривая: «Упрямая, как свекровь. Соскоблишь — через день опять тут».

Тиэко Ямагути просыпалась в четыре тридцать — за полчаса до рассвета, в час, когда тьма ещё не решила, уступать ли место свету, и мир висел в серой неопределённости, не ночь и не день. Она лежала на футоне, слушая звуки, которые стали ей так же привычны, как собственное дыхание: за стеной — мерный скрип стиральной доски. Мать, Хацуэ, уже работала. Она вставала в три и стирала до шести, потому что к семи бельё нужно было развесить, а к вечеру — отутюжить, сложить и отнести заказчицам. Стирка была единственным заработком семьи Ямагути с тех пор, как Масахиро ушёл на фронт.

Скрип-скрип-скрип. Ритмичный, монотонный, бесконечный. Звук ткани, трущейся о ребристую деревянную доску. Звук воды, стекающей в корыто. Звук маленькой женщины, которая в одиночку держала на своих плечах дом, дочь и надежду.

Тиэко встала. Свернула футон. Провела рукой по лицу — кожа была влажной, хотя она не двигалась всю ночь. Воздух потел за неё. Она надела рабочую одежду: серые хлопковые штаны-момпэ, перешитые из старой юбки, белую блузку, заштопанную на локтях, косынку на голову. Косынка была красной — единственное яркое пятно во всём гардеробе. Тиэко повязывала её каждое утро, как маленький акт неповиновения: мир мог быть серым, война — бесцветной, но она, Тиэко Ямагути, имела право на одну красную тряпку.

На кухне — три татами, земляной пол, глиняная печь-камадо, полка с посудой — она разожгла огонь и поставила кастрюлю с водой. Рис — вернее, то, что называлось рисом: смесь из двух частей ячменя и одной части настоящего риса — был отмерен с вечера. Нормы снова урезали в июне. Теперь на человека приходилось полтора го в день — чуть больше двухсот граммов. Этого хватало, чтобы не умереть. Этого не хватало, чтобы по-настоящему жить.

Хацуэ вошла на кухню, вытирая руки о фартук. Ей было сорок четыре года, но выглядела она на шестьдесят: впалые щёки, тёмные круги под глазами, руки в трещинах и цыпках — постоянный контакт со щёлочным мылом и холодной водой разъедал кожу до крови. Спина была согнута — не от болезни, а от привычки: стиральная доска стояла низко, и Хацуэ проводила над ней по четыре-пять часов в день, склонившись, как крестьянка над рисовым полем.

— Доброе утро, — сказала Хацуэ.

— Доброе утро, мама.

Это были единственные слова, которые они произносили каждое утро. Не потому, что им нечего было сказать. Потому что всё важное уже было сказано — давно, много раз, и повторять не имело смысла. Они понимали друг друга без слов, как два инструмента в оркестре, играющие одну мелодию.

Хацуэ села за стол. Тиэко поставила перед ней миску с кашей. Хацуэ посмотрела на кашу, потом на дочь.

— Ты положила мне больше.

— Нет.

— Тиэко, я вижу. У тебя миска наполовину, у меня — на две трети. Не надо.

— Ты работаешь с трёх утра. Тебе нужно есть.

— И тебе. Ты идёшь на фабрику. Двенадцать часов за машиной.

— Мне восемнадцать. Я выдержу.

Хацуэ хотела возразить, но Тиэко перехватила её взгляд и слегка покачала головой — жест, скопированный у матери Кэндзи, Ёсико. Жест, который не допускал обсуждения. Хацуэ опустила глаза и начала есть.

Они ели в тишине. За окном светало. Небо из серого становилось розовым, потом золотым. Где-то на улице залаяла собака — хрипло, устало, будто и ей было нечего сказать.

— Сегодня суббота, — сказала Хацуэ. — После работы зайди к Ёсико-сан. Она просила принести бельё.

— Хорошо.

— И зайди к бутсудану. Поменяй воду и положи рис. Свежий.

Тиэко кивнула. Бутсудан — домашний алтарь — стоял в главной комнате, в токонома. Тёмный лакированный ящик с двумя створками, внутри — маленькая статуэтка Будды, курильница, две вазочки для цветов и фотография отца. Та самая — с праздника Танабата тридцать девятого года, в светлой юкате, с веером, с улыбкой, которая с каждым годом казалась всё менее реальной. Хацуэ каждое утро ставила перед фотографией чашку свежего риса, меняла воду в вазочках и зажигала палочку благовоний. Рис вечером убирался и съедался — выбрасывать еду было немыслимо. Благовония кончились в марте, и Хацуэ жгла вместо них сосновые щепки, которые давали горьковатый, смолистый дым.

— Мама, — сказала Тиэко.

— Да?

— Ты разговаривала с папой этой ночью. Я слышала.

Хацуэ замерла. Палочки остановились на полпути ко рту.

— Я... — Она помолчала. — Я рассказывала ему про огород. Что огурцы взошли. Что баклажаны не уродились. Он... он любил баклажаны.

— Мама.

— Что?

— Девять месяцев без писем.

Тишина. Долгая. Тяжёлая. Тишина, в которой можно было утонуть.

— Почта с Бирмы идёт плохо, — сказала Хацуэ. Её голос был ровным. Слишком ровным. — Дороги разбиты. Джунгли. Муссоны. Письма теряются. Так сказал Такэси-сан с почты. Он сказал, что многие семьи не получают писем по полгода и больше. И потом — приходят сразу несколько.

— Такэси-сан носит извещения каждый день, — тихо сказала Тиэко.

— Извещения — это другое. Извещения идут по военным каналам. А письма — обычной почтой. Это разные вещи.

Хацуэ ела. Тиэко ела. Обе знали, что это — конструкция, выстроенная из соломинок. Что «почта идёт плохо» — утешение, которое с каждым месяцем становилось всё тоньше. Что Масахиро Ямагути, скорее всего, лежит где-то в бирманских джунглях, в безымянной могиле, или вовсе без могилы — просто в земле, под корнями деревьев, в стране, о которой он знал только то, что она очень далеко от дома.

Но произнести это вслух — значило убить надежду. А без надежды нельзя вставать в три утра и стирать чужое бельё.

— Я положу ему рис, — сказала Тиэко. — И поменяю воду.

— Спасибо, — ответила Хацуэ и улыбнулась. И в этой улыбке Тиэко увидела всё: и страх, и отчаяние, и ту чудовищную силу, которая есть только у женщин, которым некуда падать.

Дорога на фабрику занимала двадцать пять минут пешком. Тиэко шла по улицам, которые знала наизусть: мимо храма Дзёсэй-дзи, мимо закрытой кондитерской Мацуока, мимо дома госпожи Фурукавы — вдовы, потерявшей мужа при Мидуэе — мимо школы, в которой Тиэко два года назад учила алгебру и японскую литературу и которая теперь была превращена в учебный пункт гражданской обороны.

На стенах школы висели плакаты с инструкциями: «Что делать при воздушном налёте», «Как тушить зажигательную бомбу», «Как оказать первую помощь при ожогах». На одном плакате была нарисована женщина в момпэ и косынке, деловито засыпающая песком горящую бомбу. Женщина улыбалась. Бомба была размером с арбуз. Всё выглядело просто, аккуратно, управляемо — как домашнее хозяйство: бомба упала, бомбу потушили, пошли варить рис.

Тиэко каждый раз останавливалась перед этим плакатом и чувствовала что-то, чему не могла дать название. Не страх. Не гнев. Скорее — недоумение. Она работала на фабрике, которая шила армейскую форму. Она видела тюки ткани, поступавшие с красильных заводов, и знала, сколько труда вложено в каждый метр. Она видела женщин — сотни женщин, молодых и старых — которые гнули спины за швейными машинами по двенадцать часов в день, чтобы одеть армию. И при этом ей предлагали тушить бомбу песком. С улыбкой.

Город менялся. Тиэко замечала это каждый день — маленькими деталями, которые складывались в большую картину, как мозаика из битой черепицы. Исчезли голуби на площади перед замком — кто-то их ловил и ел. Фонтан в парке Сюккэйэн выключили — экономия воды. Металлические ограды, перила, решётки — всё было снято и сдано на переплавку. Город лишился железа, как человек — крови: медленно, незаметно, но неостановимо. Даже храмовые колокола пошли на снаряды. Настоятель храма Гококу провёл церемонию прощания с колоколом, которому было двести лет: монахи звонили в него в последний раз, и звук плыл над городом — низкий, печальный, долгий — и люди на улицах останавливались и слушали, и некоторые плакали, хотя не могли объяснить почему.

На углу улицы Тэнма-тё Тиэко догнала Ясуко Мори — свою подругу с фабрики, невысокую девушку с круглым лицом и вечно удивлённым выражением, будто мир каждый день подсовывал ей что-то неожиданное.

— Тиэко-тян! Подожди!

Ясуко подбежала, запыхавшись. На ней были такие же момпэ, такая же блузка, такая же косынка — форма, которую носили все женщины Хиросимы, превращаясь в одинаковых серых птиц. Только у Ясуко на косынке был вышит маленький цветок — незабудка, голубая, едва заметная. Мастер Хамада однажды увидел её и сказал: «Сними. Украшения запрещены». Ясуко сняла. На следующий день пришла с новой незабудкой на другой косынке. Хамада посмотрел. Ничего не сказал. С тех пор незабудка осталась.

— Ты слышала? — Ясуко понизила голос, хотя вокруг не было никого, кроме старика на велосипеде и кошки, дремавшей на крыльце. — Госпожа Араки получила письмо от мужа. С Таравы.

— И что пишет?

— Ничего. В том-то и дело. Письмо пустое. Одна строчка: «Я жив. Прости». Всё. Госпожа Араки говорит, что это — цензура. Что он написал больше, но вычеркнули. Она держала письмо на свету, пыталась разобрать, что под чернилами. Ничего не разобрала.

«Я жив. Прости». Тиэко повторила про себя эти слова. «Прости». За что? За то, что жив, когда другие мертвы? За то, что не может написать правду? За то, что вообще ушёл? Или за что-то, что невозможно произнести и невозможно забыть?

— А ты получила от Кэндзи-куна? — спросила Ясуко.

Тиэко кивнула. Письмо пришло три дня назад. Она носила его с собой — сложенное вчетверо, в кармане момпэ, у бедра, чтобы чувствовать его при каждом шаге. «Я помню». Два слова. Она перечитывала их каждый вечер и каждый раз находила новый оттенок. «Я помню»

— мост. «Я помню» — лепестки. «Я помню» — твою руку. «Я помню» — что я жив, и ты — причина.

— Что пишет?

— Что вышел в море. Что видел горизонт. Что помнит.

— Романтично, — вздохнула Ясуко. — Мне никто не пишет про горизонт. Мне вообще никто не пишет. У меня нет никого, кому писать. Все мои братья ещё маленькие, а парня у меня не было. — Она помолчала. — Знаешь, иногда мне кажется, что я — лишняя деталь. Как пуговица, которая осталась после того, как шинель уже сшита. Вроде есть, а пришить некуда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.